

Владимир
Гандельсман
Грифцов

Владимир Гандельсман

Грифцов

Москва

«Воймега»

2014

УДК 821.161.1-1 Гандельсман
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
Г19

Художник серии: Сергей Труханов

В. Гандельсман
Г19 Грифцов. — М.: Воймега, 2014. — 80 с.

ISBN 978-5-7640-0150-0

Книга издана при поддержке Алексея Коровина.

© В. Гандельсман, текст, 2014
© С. Труханов, оформление, 2014
© «Воймега», 2014

Грифцов
во всём
великолепии

Любовь

Как-то раз его навестила молодая пара,
муж с женой. Он тогда умирал от горя,
потому что был брошен возлюбленной
дивноокой... Грифцов сказал им,
что у него нашли угрожающую аритмию.
Пару цепко заинтересовал метод
опознания опасной болезни.
Чуть замешкавшись, Грифцов поведал...
И жена, откусив плода кусочек,
улыбнулась: «Угрожающую аритмию
так вообще-то не определяют».
Муж за ней повторил: «Не определяют».
Вскоре пара, обнявшись, к машине
заспешила мягко, простясь с Грифцовым.

Только год спустя он диалог расслышал,
торжествующий диалог их в салоне рая,
и любовь их увидел там же,
чуть отъехали они и в лесок свернули.

Выходной

Как-то раз он пришёл домой без четверти
полночь, ручные часы и настольные
показали без четверти, но оказалось,
что настольные встали ровно
в тот момент, когда он смотрел на стрелки.
Вот тебе, Грифцов, и смотрелки.
«Не из ревности ли к тем, что ближе, —
усмехнулся он, — батарейка села?»
Он её пожурил: «Невежливо. Ведь вошёл хозяин».
Или, может быть, взгляд его был недобрый,
ведь настольные часы — будильник...
Утром его разбудило солнце,
утром зимнее выходное солнце его разбудило.
Всех-то дел было — пройтись до магазина,
заменить батарейку, купить бублик к чаю.
Сказано — сделано. Он шёл спокойно,
словно бы видя, как идёт спокойно,
словно бы не он это шёл, а тот, кто легче,
ничего не значащий человек, невесомый...
Путь туда, вывернувшись наизнанку,
стал обратным. Дверь на лестничной клетке
вертикальным конвертом белела.
Он открыл её, вложил себя и захлопнул.

«Я письмо, — подумал Грифцов, — но знать бы,
от кого, кому и на чьём наречье...»
Он поставил часы на стол, и тут стемнело.

На уроке

Как-то раз Грифцов-репетитор
занимался со школьником малым,
бледным, как утренняя погода.
Он и был её блудным сыном —
так рассеянно смотрел в окно, неотрывно...
В молоко... «Он целиться не научен,
он не знает, что такое мишень, —
так Грифцов сказал про себя и спросил:
Антоним к слову «свет», допустим?»
Но мальчик его не слушал.
«Не антоним ли ты ко мне, Грифцову?
Сколько раз надо сглотнуть обиду,
через труп свой переступая,
чтобы молоко на губах обсохло,
глаз научился смотреть с прищуром,
а щека прилегла к прикладу?»

И Грифцов решил: «Пусть его научит
кто угодно, только не я». И вышел.

Библейский сон

Как-то, в пору наводнения,
выпустил Грифцов из рук тепла
голубя, и тот исчез дотла,
засмеркался и исчез, вроде видения.
Небо ночи синью возросло,
как кристалл сульфата меди.
Заклубилась колба сна, Грифцов весло
уронил. Всё стало ожеледью.

Долго видел взорванное
и застывшее стекло пространства,
а потом канун почуял праздника.
Ослепило что-то взор его.
То была предутренняя весть —
выюркнув из льдистого тумана,
в форточку влетел, Грифцову весь
возвращённый, голубь Иоанна.

Первое свидание

Вот воздуха февральского клочок,
на нём её фигура перевозданно
горит, чтоб твой затеплился зрачок,
Грифцов, и он затеплился. Осанна!

Когда ты приближался к ней, она,
ещё внезапна и с собой не сходна,
была с таким пристрастием дана,
что сердце в горле билось. Превосходно!

Грифцов, как хорошо тебе дрожать
в своей любви, ты приобщился к тайне,
и это всё, что стоит удержать —
клочок февральский! — в памяти. Бескрайне!

Осанна! Этот двор и редкий снег,
летающий на сарай, качели, брёвна
и ветви всех деревьев — этих рек,
текущих в небеса... Беспрекословно!

Грифцов прогулочный

1

Кто этот винодел, который свёл
речную рябь и запах смол?
Вдоль берега проносится по шву
искристый поезд, вылетевший из
шампанского туннеля. Празднуй жизнь!
Но как поверить в то, что я живу?

Я на мосту свидетель облаков,
златящихся со всех боков,
и синевы, в кристалликах стиха
сверкнувшей, точно Лермонтов какой
волной плеснул мне в сердце звуковой
и молвил на прощанье: «Ночь тиха...»

2

Надо где-то рядом погулять
с обозримым, здесь, но где-то рядом...
Вдруг увидеть ледяную гладь
озерца и стать безмерным взглядом.

Треском льда напугана, гусей
всколыхнётся эскадрилья,
с криками и хлопаньем, во всей
траурной красе расправив крылья.

И исчезнет. Наклони печаль,
чтоб пригубить из пустого блюда
и невидимым усилием даль
так в себе продлить, чтоб не вернуться.

В обратной перспективе

Как-то раз Грифцов лучезарный
в майской комнате со шкафом зеркальным
был застигнут отцом его приходящим,
что от матери жестоковыйной сбегал то и дело,
а потом и вовсе ушёл и года три не являлся.

Он стоял, преклонив колено, спиною к шкафу,
а Грифцов-ребёнок стоял перед ним и видел
отражение их в зеркале неумолимом.
Пахло от отца шоколадом, поскольку
он принёс коробку и, сдёрнув глянец,
приоткрыл её заискивающе — в углублениях
на ажурных лафетах лежали конфеты.

Был отец женолюбив и ласков,
статен, нежно-розов лицом. Грифцов заметил,
как по правой и левой щеке его поочередно
две скатились слезы...

А лет через двадцать,
у картины Рембрандта, в Эрмитаже,
сам Грифцов пролил две слезы, постигая
то, что можно постичь не умом, а сердцем:

он постиг обратную перспективу,
где ребёнок в святом ореоле и светоносном
возвышается над блудным отцом слезливым.

Два возвращения

Как-то раз Грифцов обморочно засмотрелся,
а верней — уставился в одну точку,
а ещё точнее — с собой смирился
и забыл себя насовсем и прочно.

Как небесный глобус, фонарь горел на платформе.
Перешёптываясь, стояли деревья вплотную.
Но Грифцов не дольний мир уже созерцал, а горный,
из горячей полдня воды входя в ледяную.

И когда оглушительно смолкло на белом свете —
ни трагедий, ни глобуса, ни горького запаха гари, —
мысль-чертовка, подобно хвостатой комете,
пролетела мимо Грифцова мозга двух полушарий.

Через час, ночь ли, вечность, обросший щетиной,
он очнулся, подумав: «О забытьё, как ты мудро!» —
ровной радости миг миновал неощутимой —
и вышел в торопкую трусость утра.

Семь плюс один

У одного глава склонённая —
устал и на закате сник,
а у другого — удлинённая
с изгибом шея, в тот же миг
у третьего — улыбка кроткая,
четвёртый сдерживает гнев;
потупясь: «Жизнь моя короткая!» —
вздыхает пятый нараспев,
шестой в окно глядит без усталости,
и тянется к нему седьмой —
кто знает, что у них, не чувства ли...

Грифцов застыл, придя домой:
не разум — он всегда провинция
безмолвной истины, пойми,
нет, в отрешённости прими —
изысканная интуиция
тюльпанов огненных семи.

Утро

Неба синева открытая,
точно озеро в ночи,
землекопами открытое,
силе света научи.
Нет ни облака, ни идола,
только вверх идти ко дну,
и пока мне душу выдуло,
я к бесцельности шагну.
Не душа в молочных обжигих,
как бы ни была свежа, —
есть края роднее обжитых
и другие — не душа.

Грифцов — переводчик Шекспира

№ 135

Кто бы тебя ни тешил неглиже,
один Уильям метит прямо в цель,
взведя копьё! Он *именем* уже
к сладимой щели льнёт и льётся в щель.
Увлажнена ль, чтобы Уильям мог
там пировать, шекс-пировать, иль ждёт
он изволения зря? Смотри, он взмок.
Ужели не Уильям? Кто? Вон тот?
Уильям грянет ливнем в океан! —
Не переполнить? Пусть. Но утолить,
насытив, страсть! Он страждет, пьян и рьян,
уильямсь, всё в сладимую излить.
Впусти меня — и в пиршестве утех
в Уильяме сольётся похоть всех.

№ 136

Клянусь слепой душе твоей, что я
Уильям, по складам меня читай:
У-и-льям — в нём желанье льёт ливмя.
Оно твоё, впусти меня, впитай!
Уильям в тайниках твоей любви
разбудит сонм желаний, среди них —
настоянное на *его* крови.

Возможно, растворённое в других,
оно тебя не тронет, но позволь
ему там быть, считай меня ничем,
но всё-таки считай, — пусть эта роль
не главная и до поры я нем.

«Уильям» пусть душа твоя твердит,
и он любовью в ней заговорит.

№ 137

Любовь-дурёха, что за слепота?
Мои глаза не видят то, что зрят
перед собой, — им внятна красота,
но пялятся на всё дерьмо подряд.
Зачем они швартуются в порту,
в котором промышляет матросня,
зачем суются в ту же срамоту,
в которую совались до меня?
Зачем себе внушать, что отведён
причал любви-дурёхи одному,
тогда как не причал он, а притон?
О, похоть, неподвластная уму!

Как сучка, ложь, ты спуталась со мной,
и, чумку подхватив, я стал чумной.

Живые картины

1

...в маленькой зиме
свет змеится в лезвиях-полозьях,
срез на ледяном зерне —
огненный каток, и люди — парно и поврозь их
вижу — с паром изо рта,
вскользь наклонны и пестро цветисты,
золотая лампочек орда
осадила ёлку, ветра плети-свисты,
с горки с криком сыпь —
бисер детворы ничком, на спинах,
в тёмном небе глыб
оспина луны, и дышит сон в полях остынных,
в маленькой зиме,

в маленькой зиме,
в калейдоскопе
вижу их в паденье и в подскоке,
в парке, в шнуровании конька,
в снег роняют денежку денька,
и ступает ночь уже украденко...

— дяденька, — кричит мне мальчик, — дяденька...

2

Выхватыватель жизнестрок!
Так воробей бочком, робея,
вмиг — крохобор, взъерошенный репей,
и выстрел сердца, и воинственный наскок.

А рядом — под шатром — веселье,
родительская россыпь вкруг,
вдруг — по ребёнку склонув с карусели,
все второпях летят на кухню жаркий юг.

А после — то в одном оконце,
к нему подплыв из тёмного нутра,
то в третьем, как наживку, солнце
медно-зелёный сом заглатывает до утра.

И площади пустующая мель
развесит шторы — невода сухие,
и ночь погасит многохищные стихии
и вскормит булкой сна дневную карусель.

3

В вечернем воздухе завис —
он исполняет кистевой
бросок, — над ним сияет высь
своей закатной синевой.
Над головой откинута ладонь,
сейчас просвистнет хлётко
и сетку просквозит огонь —
оранжевого прометея слёзка.

О, задранное вверх лицо,
о, жизнь, прямящаяся вся, —
без усталы бросать в кольцо
и гаснуть, в воздухе вися.

4

Вот женщина у выхода
(в её руках покупки выгода)
универсама замирает —
она к глазам подносит свиток,
приход с расходом замеряет.
Чек. Чик-чирик с соседних веток
да урны мусорное шевеление.
Его величество Явление.

Закат. Закат и зарево,
червонное, как звали встарь его.
Свечение. Покой вечерний.
В зеленоватой дымке почек
таится листвописец верный
и будущий шлифует почерк.
А женщина идёт домой, как водится.
И сходит всё на нет. Всё сходится.

Грифцов политизированный

1

Как на ладони Грифцову предстала
жизнь Всевластного.
В скаредной бедности живёт семья, с отчаянным
пристрастием к упованию.

Вьётся бледно-зелёный отрок
на простыне в напряжении сил ползливых,
отрабатывая бесшумность энергии накопления
и незримость её, когда возбуждается.

Он боится её пролить,
необходимую в будущем.
Он ползёт от кровати до этажерки, стараясь,
чтоб его не заметили окружающие вещи.

Он называет это умолченным
извиванием пути, он называет это
изворотливостью глубин. Всевластный
подрастает. Грифцов его видит как на ладони.

2

— Что умеешь? — спрашивает Испытующий.
— Проползу до той стены так,
что ваш стол этого не заметит,
ни даже более зоркое кресло.

— Ползунок, — говорит Испытующий, —
сам сюда не приходи отныне.
Научись себя изымать совершенно,
и тебя позовут наши люди.

Он вернулся, чтобы к стене, напротив
зеркала, приковать себя цепью
и добиться невидимости искоренением
организма частиц. И добился.

3

И однажды, когда он стал Всевластным,
прикипев к бумаг изучению в кабинете,
к составлению их, к приказам
о прочёсе леса и обезвреживании бандитов,

об уменьшении размеров бедности населения
и продлении средней жизни
продолжительности, — он получил записку:
«С подростковых лет я избивал тебя сладко.

Ты всегда ведь был подлецом, Всевластный.
И сейчас, когда для тебя я недосыгаем,
а моя «История» всем доступна, избиение длится
в вечности и обозримо великолепно!»

4

Так увидел Грифцов. А когда бледно-зелёный
в прошлом отрок подох, никому из смертных
в голову не пришло сказать, что Бог забирает лучших.
И Грифцов заснул умиротворённо.

Грифцов на митинге

Грифцов идёт и видит: митинг!
Парят витии над людьми,
размахивая, как плетью,
идеями, чтоб вразумить их.

То потный патриот недужит:
«Ату!» — кричит, слюна во рту
клокочет и кипит, Христу
он чёрной ненавистью служит,

то удалец с тоской звериной
и узкой злобою в глазах,
а то, с лимонками в трусах,
козёл с бородкою козлиной.

И всяк зовёт к себе Грифцова
и словоблудит, чтоб привлечь...
Грифцову вонька эта речь.
Он чист и дышит образцово.

Он говорит: «Мне мерзок митинг,
ужимки эти и прыжки,
идите в баню, там ваш мытинг,
отмойтесь, грязные щенки!»

Грифцов и Давид

№ 5

Едва начнёт растоп
заря, — я пред Тобой,
услышь, Господь, мой воп,
молитвословный мой.

Ты пагуба лжецов,
паскуд и грехомыг,
чьи рты вроде гробов
разверстых, а язык —

труперхнущая лесть.
Войду в Твой храм, зане
Твоих щедрот не счесть.
Страх — очищенье мне.

Коварства не прими
и злобы не прощай.
Лишь Сына путь прями
и благостью венчай.

№ 11

Спаси, Господь! В чести соблазны
лукавых: «Кто нам господин,
когда державным словом властны?»
Кадильщики все как один.

Лишь нищему Ты явлен в Силе
и лишь творящему добро
Твои слова — семь раз в горниле
очищенное серебро.

Повергни криводушных в известь
горящую, чтоб извести
их племя, — здесь, где только низость
и велеречие в чести.

№ 143

О будь благословен, мой Избавитель,
моя твердыня, Ты в мои персты
вложил копьё, могучий щит мой — Ты.
Я Твой воитель.

Не дивно ли, что обращён Господень
взгляд на того, чья жизнь на волоске!
Что человек? — Тень ветра на песке.
Он мимолётен.

Сойдя с небес, Тобою наклонённых, —
Тебе покорны молнии, мой Бог! —
молю, испепели дотла врагов
иноплемённых!

Десница их — десница лжи безумной.
Избавь! Они ползут со всех сторон.
Тебя лишь славит мой псалтерион
десятиструнный!

Да вымрет род их пагубный и тощий!
Да возрастут сыны Твои как лес
и дочери — под нежностью небес —
прекрасной рощей!

Да будут наши житницы обильны
зерном, да приумножатся стада!
Твоя рука щедра во все года,
а власть всеильна!

Грифцов-Орфей

Дуновенье небесной купели.
Как идти с Эвридикой он рад
сквозь цветения время, в апреле!
Первых листьев горят,

зеленясь, язычки, и душиста
прорастающая тишина...
Вдруг у дерева остановилась:
«Разве мысль не страшна —

умереть и отчётливой сини
никогда вот над этой ветлой
не увидеть? Непереносимо...» —
и взглянула светло.

Это было прекрасно и просто.
Дай мне вспомнить, пока не забыл,
как Грифцов полюбил её просто,
как легко полюбил!

Обрыв фильма

Как-то раз он проснулся
не один. Не в своей квартире.
Не в её. В гостях несусветных,
в новостройках — таблицах
логарифмов (в какую степень
мертвооую возвели фундамент,
чтоб получить такое!).

Показалось, что надо что-то
сотворить — в трепыханиях утра
трижды крикнул петух метафор,
наизнанку вывернутых в сегодня,
и потух — друг от друга
не отrekliсь они малодушно...

За окном января мальчонка
начинал лепить снежную бабу,
первый ком блином рассыпáлся,
но потом получилось...

По весне, возле речки Лубья,
ночевали на даче.
Там большие водятся сосны
и чернеют и машут крылами в небе.
Там она о её любимшем
юноше рассказала, рано
мир покинувшем, и о том, что
иногда он вдоль речки бродит
и как будто плачет...

Как-то раз (вчера в полночь)
выпивал я после работы
в «Шарлаховом дубе»,
думая о Грифцове...
Горбоносая женщина вдруг
налетела, защёлкала, наводя
объектив на витрину бара,
восхитившись пластмассовой
красотой закусок...

Тот, кто пишет сегодня
«Повесть временных лет»,
пусть внесёт в неё
сей эпизод полночный.
Всякий знает: случайность —
режиссёр гениальный...

Но Грифцов, — так решил я
за секунду до третьей стопки, —
не участник этого фильма, —
он расстался немедленно с Гретой
и с тех пор не искал подруги.
Он сказал: «Мне любить
не по силам, а не любить не надо.
Быть одному — вот что
единственно и прекрасно».

Грифцов — переводчик Джойса

Льёт тихий дождь над гробовой доскою
любившего меня, ты слышишь, вот —
сквозь слабый свет луны — с тоскою
он вновь зовёт.

Любимый, та же нас подстерегает осень,
и в скорбном сердце та же дрожь
под лунною крапивой, там, где плесень
и шёпот-дождь.

Грифцов и Вторая книга Царств

И было после того: у Авессалома,
сына Давидова, [была] сестра красивая,
по имени Фамарь (Тамар), и полюбил
её Амнон, сын Давида.

2 Цар., 13:1–22

1

Болен твой брат, сестра.
Ты его навести.
Свечой добра
в темноте погости.

Ты ему приготовь
понежнее еды.
Всё-таки кровь...
Дай воды.

Пусть не будет в доме
никого, только вы.
Ближе к нему
подойди, позови.

Ты над ним наклонись,
имя шепни: Амнон!
Есть ли в нём жизнь?
Дышит он?

2

Глаза закрою — и реву
во сне, и сам себя не знаю, —
с тебя сдирая платье рву
и плоть твою терзаю.

И если не орущий взлом,
меня увечащий ночами,
и если сквозь тебя стволом
тотчас не прорасту толчками,

то мозг расплавится. Сестра?
Но тем острее, чем запретней.
Будь медленна, потом быстра,
влажнее и ответней.

О, этот крик, когда, вмяня
в себя до огненного края,
ты липким соком недр меня
обволокнушь, изнемогая!

3

— Стали позором, брат,
жизни ночи и дни...
Но и пути назад
нет мне. Не прогони.

— Мне тошнотворен мёд.
Губ твоих не ищу
и за то, что я мёртв,
тебя не прощу.

— Разве моя вина
в том, что в зверином сне
ты исчерпал до дна
жизнь? Повернись ко мне.

— Не прикасайся. Сплю.
Мозг превратился в пар.
Я тебя не люблю.
Уходи, Тамар.

Грифцов и Беккет

1

Вас, беккетовских двух, прижатых
друг к другу, слившихся в одно
двуглавое, худых, не жадных
до жизни, сброшенных на дно
существования, столь спящих
и нищих, слипшихся почти,
в подземном грохоте пропащих,
навек сбившихся с пути,
утраченных, усохших, утлых,
вас, беккетовских двух, прилюдных, —

в людской стране высокомерья,
в которой разве только сон
горяч, животный сон безверья, —
я созерцал и, вознесён,
возвёл вас не в абсурд и вздор, нет —
в сердечный пламень среди льдин...
Двуликий Янус, что развёрнут
внутри профилями, где один
так разрыдался вдруг, что смехом
другой откликнулся, как эхом.

2

Пойдём? Я приготовился... — О господи,
ты стал как тень. — А ты? — Какая местность
скупая! Что за пшики? — Паровоз, поди. —
Нас кто-то встретит? — Полная безвестность. —

А ты её узнаешь? — Я-то? Сослепу?
Едва ли... В крайнем случае, на голос
пойдём... — Внимай и будь послушен оклику.
Нет, что это? Не северный ли полюс? —

Не знаю. — Что? — Тетеря... Ты квитанции
и паспорта взяла? — Дурак, мы тени!
Как предпочтительней тебе — от станции
или на станцию?.. — Нет предпочтений... —

Тогда пойдём...

Два грифцовских сонета

1

Громожденье каменистых круч.
Ни людей не видно, ни огня.
Гор уклад безжизнен и могуч.
Значит, обойдутся без меня.
Зверь собачий юркнул в конуру.
Трудодню подведена черта.
Помолись на уличном ветру,
потому что церковь заперта.
О себе не помни, не смотри
в сторону пощады. Немошь, прочь!
Каково висеть Ему внутри
в темноте и холоде всю ночь?

На рассвете стану жить опять.
Надо только смерть свою унять.

2

Сознание овцы, жующей
безостановочно, летящей
над океаном чайки, ждущей,
за входом-выходом следящей
привязанной собаки (жгущий
лицо, полдневный и слепящий
пустыни зной, иль райски кущи,
иль тундры ветер ледяющий) —

сквозь мир, до сердцевины сущий, —
в однообразии кипящий,
без мысли, то есть неимущий,
припой сознания пропащий.

Тем ярче с неба не *идуций*
зов ясной мысли, но *светящий*.

Диалог Грифцова со своей душой

— Столько в юности сил,
что хватило б на святость.
Закошил.
Вот и вся виноватость.

И пока не зачах,
смей признаться
в некоторых вещах,
а не то — упразднятся.

Честь не мог ли спасти
там, где морда
пса в почёте, врасти
в площадь мёртво?

Был, найдя свой мотив
в одиночестве жгучем,
ты правдив
и тщеславьем не мучим?

Так ли сплошь потрясён
смертью брата,
пьяный сон
с век смахнув без возврата,

чтобы к жизни прильнуть,
не смыкая
глаз отныне? Ничуть.
Не прощу. — Кто такая?

— Ты не только не Сын,
ты пребудешь подлогом
человека, один,
то есть не перед Богом.

Хором, слышишь, вопят
в той траншее? —
Обжит дантовский ад.
Твой страшнее.

Весна

У женщин выпятились животы,
идут подруги футболистов,
дыханием приоткрывая рты,
и шёпотом шумят трибуны листьев.

Дымят лотки, страды весенней стынь,
из подтрибунных помещений
везут на свет арбузы дынь,
и почки лопаются без смущений.

Безмозглый мир счастливится дождём.
Дозволь-ка мне не выпад — выцап
когтистой мысли — я о том,
что будь разумен мир — мне не родиться б!

Грифцов
читает
Гандельсмана

Элегия. Воплощение

Меня, со всеми мыслями моими
и чувствами извивчиво живыми,
как червь, как ветвь, как Критский лабиринт,
где нить горит,
меня, вольфрамовой молниеносной нитью
спасённого, прошьёшь какой-то гнитью?

Мою, со всей листвой и хвоей леса,
где пёстрые мелькают гирики веса,
пощёлкивая, плача, хлопоча,
где, как парча,
вбирает солнце земляничная поляна,
жизнь распылишь, чтоб стала неслиянна

сама с собой, с великолепьем тождеств,
когда в кругу божеств, а не убожеств
я то, что предо мной? — Вот чайный куст,
он многоуст
в своём цветении, он кожист, острозубчат,
а вот ночной корабль, дымящ и трубчат.

Я, подходящий к линии прибора
ступнёю тронуть вещество припоя,
запечатлённый мальчик, птичья кость,
берущий горсть
песка зернистого, текущего меж пальцев,
я буду вычеркнут из постояльцев?

Корабль плывёт, вода черна, Эвксинский
понт, а внутри — мир аурелий склизкий,
и звёзд морских, и пурпурных ежей,
шесть падежей,

три наклонения, глагол, предлог, причастье,
пиши в тетрадь, вот слово есть: запястье.

Ты помнишь ли его, из-под манжета
оно виднеется в загаре лета,
а там любовь и солнечный удар,
а там базар,
пропахший паприкой, колендрой, сельдереем,
а там зима пыл охладит Бореем.

Меня, с моею памятью, столь цепкой,
что если я задуман мёртвой щепкой,
то для чего ноябрь, снег в фонаре,
лиса в норе,
подлунные поля, как простыни льняные
из синьки, и оконца слюдяные?

Так вьестся в мир, как в мир себя врезает,
зигзагами, как будто разгрызает
пространство, в снеговую канитель
одевшись, ель, —
всходя, над ярусом надстраивает ярус, —
в два профиля неколебимый Янус!

Так впиться в мир, чтоб он в тоске прицельной,
меня увидев с ясностью предельной,
как я — его, меня не отпустил, —
каков настил! —
дощатый, хвойный, ледяной, морской, небесный,
любой — ты без меня пустой и пресный!

Элегия. Пришествие

Он в кухне говорит о чём-то
с женой, он в майке выцветшей
напротив чёрного окна,
я для отчёта
(перед собой) записываю вирши,
едва стряхнув лохмотья сна.

Как будто это кадры фильма,
просмотр, где я единственный,
уставясь в крапчатый экран,
почти насильно
смотрю и вижу: друг мой незабвенный,
вернувшийся из дальних стран, —

ему дана неделя, — бледен,
он ходит, взяв квитанцию,
он должен заплатить за свет, —
блокнот мой — бредень,
которым я вылавливаю танец
(в лохмотьях сна), точнее, след

движений: муж, за ним по кругу
жена, тарелка с трещиной,
на ней кусочек хлеба, нож,
я вижу, другу
нехорошо — очкастый, отрешённый,
он слишком на себя похож,

вот — я могу его потрогать,
когда бы не театр теней,
не странная брезгливость, не
сосновый дёготь
сна, не попятное в нём тяготенье
проснуться, выскочить вовне,

не радость тайная, что это
реальность, что и ты придёшь
когда-нибудь издалека
в такое лето,
где эту ручку и блокнот увидишь
и оживёт твоя строка:

он! до неузнаваемости (в майке,
напротив чёрного), он весь —
мне утешение и страх,
а вот ремарка
перед тем, как опуститься занавесу
и буквам разбрестись впотьмах:

он умер и давно истлел в могиле,
стоит, квитанцию в горсти
зажав, он должен заплатить
за свет, за то ли,
что иногда их отпускают в гости
и можно умереть, но жить.

Элегия. Плавание

Люблю зашторенные окна, свет не лезет
в глаза, а на столе люблю стихи,
написанные накануне, лепет,
возможно, но люблю их перечесть,
когда захватывает дух на стыке
двух строк: блеснёт находка ли? — бог весть.

А в те часы, когда закончен труд полночный,
люблю сквозь сон разматывать клубок
минувшего, когда, уже неточный,
день гаснет в памяти, но не совсем,
так, улыбнувшись встречному, улыбку,
простившись, всё несёшь — куда? зачем?

Та глуповатость, о которой умный Пушкин
писал в письме, умеет набрести
на свежесть слова, как на запах стружки,
зайдёшь в какой-то двор, а там столяр
орудует рубанком честь по чести, —
люблю живой и благородный дар.

Куда завёл меня мой стих? Я на задворках,
в той мастерской, где строят корабли
игрушечные, где о двух «аврорах»
не слыхивали, только об одной,
шпангоут, рубка, мачта, пота капли
кропят твой лоб и детский профиль твой.

Потом на Каменный поедем, на Крестовский
к веслолюбивым лодочникам, там
по сходням — из-под ног уходят доски —
сойдём и оттолкнёмся, — в путь, пора

взглянуть на шпиль бессмертного эстампа
со стороны, на блещущий с утра.

Люблю точёное скольжение восьмёрок
с глашатаем, сидящем на руле,
изменчивого неба свет и морок,
как в проявителе, дрожит в реке,
кого похитили? — я слышу в гуле
знакомый голос, родственный строке.

Елену? Значит, снаряжайся, Агамемнон,
ты бабьей верности такой хлебнёшь,
которая не снилась всем еленам,
ведь ты ещё вернёшься в отчий край...
Но возвращения претит мне ноша,
обратной лодке не бывать, прощай!

В обратном плаванье люблю другую лодку,
она прошита памятью моей,
трагедия бесповоротна, кротко
я должен перечислить инвентарь
и на хранение царские покои
стихотворенью сдать, как щедрый царь.

Расшторить окна, но ни сетований сердца,
ни радости не выдать, гладь да тишь,
рассвет сменился днём, а тот рассесться
успел на троне, — что мне эта ширь? —
я с равнодушной вежливостью, видишь,
приветствую ухоженный пустырь.

Элегия. Под линзой

Чем долгодолгий день? С собой, подробностью,
вниманием, таящимся под робостью.
Как бы под линзой, день — под рассмотрением,
не временем измерен он, а зрением.
И самый краткий, зимний, как с повышенной
температурой, длится, нескончаемый,
дыханья чёрен островок, продышанный
в окне, где человек мелькнёт нечаянный.

Чем долгодень? Подробностью мельчайшею,
кота ленивой поступью мягчайшею,
дымком под линзой, солнцем, в конус собранным,
листочком календаря, неровно содранным,
уставленностью в точку, взглядом медлящим,
оцепеневшим, впившимся, несведущим,
перед каждой вещью огненно немеющим,
без мысли мыслящим, без веры верящим.

Вечерним вечером ли, утром утренним —
ребёнок в созерцанье целомудренном,
плывёт ангинный жар и свет малиновый —
без чувств горячий, без молитв молитвенный,
он собран в вещество такой материи,
где время, точно мышшь, скользнёт и выскользнет...
Потом произрастут волчцы и тернии
и ветер тот дымком под линзой высквозит,

потом взойдёт бесстыдный, расхрабренный,
тщеславный человек, сорняк пробившийся,
искусством одержимый и завистливый,
разящий беспощадной правдой вылезенной,
а с ним взойдут признание и увенчанность...
Вот человек, в союз пророков принятый,
забывший, что смиренность и застенчивость
есть высший дар, по слабости отринутый.

Элегия. Кузина в 1973 году

Весна. Трамваи катятся под горку.
Горнист. В подкорку.
Командирован в Звёздный, я в Москве.
Иду к кухне, чуть поздней — вдове,
потом — бесследно умершей в больнице,
за «Соколом»-метро, не в Нище.

Останется сын Константин. В подкорку.
Ты помнишь генеральную уборку
и повсеместное мытьё?
Зеленолиственное по ветвям дутьё.
Иду. Однажды в раннем детстве, летом
нас положили спать валетом.

Ночь. В Евпатории янтарной.
Я брат твой, с опозданием благодарный.
Валетом. То-то я годам
к двенадцати искал в колодах дам.
Пиковых ли, бубновых ли, крестовых,
а более всего — червовых.

Ты козырь дядьки. Университета
студентка. Математик. Ты воспета
в хвастливых монологах. Задран нос.
Он вскоре умер и унёс
гордыню в смерть. О, тётя Доба.
Добрейшая. Любовь всегда — до гроба.

О, гром литавр! О, эта колесница!
Хоронят главного евпаторийца.
Главу горкома. Полдень раскалён.
Колодой он лежит. Не королём.
Горком. Партком. Трудящиеся массы.
Мясопотамия. Умеры. Мясо.

Гроб. Вот бездарности образчик.
Чья мысль ты — положение во ящик?
Весна. Распахновение одежд.
Не оправдавшая надежд,
ведёшь бухгалтерский учёт в конторе.
Но дядьки нет, а то бы горе.

Сластёна, краснобай и щёголь,
он походил на взбитый гоголь-моголь.
Да. В гоголевском смысле. Сахарок
накапливал, пока не вышел срок.
Да. Диабет. Но был он жовиален,
любитель жён чужих и спален.

Весна. Вечерний воздух. Варят трубы.
Трубит горнист, вытягивая губы.
Счастливец не узнал, что дочь сошлась
со сварщиком. Что заварилась связь.
Что закалилась сталь и что со света оба
сживали тётку. Бог мой, тётя Доба!

Пришёл. Звоню. Не открывают дверь мне.
Как много терний!
Через них мы рвались к звёздам Константина.
Вы ж зачинали в то мгновенье сына.
Что будет с ним? Как сокол, воспарит
и общий ужас повторит?

Из Лидии Гинзбург

Что там — январь ли, март?
Гибнет блокадный хор.
Вот он, точный стандарт
жалости, горя, ссор.

Ближний сердцу не мил.
Тут не музыка сфер —
рациональность сил
и принятие мер.

Ближний вшами зарос.
Скоро ль ему конец?
Надо ставить вопрос
по-научному, спец.

Нет любви у меня.
Есть ответственность за
жизнь, если ты родня.
Плюнуть бы ей в глаза.

Это такой загон.
Функция, сущность, факт.
Это такой закон
и ритуальный акт.

Это буквальность, в рост
смерти. Её творя,
входит Каменный ГОСТ
сжатого словаря.

Этюд

От хрустальных люстр,
занавесок-тюль,
покрывал пикейных,
от декабрьских утр
хладнокровных пуль,
от спецов тупейных,

от причёсок тех:
чёлки и каре —
да чулочков в рубчик,
шапок — рыбий мех,
дров в сыром дворе,
прописей и ручек

да от санных полос,
от резца-сверла,
в зреньё втравленного,
набежавших слёз
ноша тяжела,
сердца сдавленного,

от кошёлочек тех
да клеёнок кухнь,
рук в муке, передников,
инженеров-тех.,
птичек вышь и рухнь
да воскресников,

от халтуры — гипс:
пионер-салют,
на плече дитя, —
от заборов с «икс,
игрек...» слова зуд,
вот и цедится,

вот и цедится по строфе,
по одной, по две,
ветер, стадион,
фильдеперс, галифе,
голо голове,
май, тюльпан, пион.

Железнодорожное полотно

Как пробирают они — до дрожи: рельсы,
шпалы, туннели, речные мосты, пути,
будки стрелочников, курганы, бельцы,
брянски, курски, пустопорожние
грохоты, вокзалы, «ручку позолоти»,

с бельмами изоляторов, как слепцы,
идут столбы, цепляясь за провода,
возле шлагбаума промелькнёт подвода,
орски, сызрани, новгороды, ельцы,
«спичкой угости, молодой, да?»,

деревенские дети разинув рты
смотрят на поезд, кофты, платки,
сага промасленных пирожков, палатки,
электростали, дербенты, орлы, читы,
«красивый ты, но есть у тебя враги,

чёрное у них на сердце, есть одна
дама трэф, сжить тебя хочет со света она,
дай карманную денежку, я её заговорю»,
только железнодорожного полотна
дброги образы и штрихи, дарю,

как пробирают вот эти, где ты и я
жили, художником не прописанные края,
невинномыски, шахты, кански, ухты,
рельсы, туннели, пути, речные мосты,
«видишь ниточку — это душа твоя».

По-весть

Помню, шагом шел нетвёрдым в одиночестве негордом
и забрёл — за коим чёртом? — по пути в кромешный бар.
Бар напрасный, бар случайный, жизнь, зачем судьбою тайной...
От тоски ли чрезвычайной и семейных дрязг и свар
я набрался как сапожник и услышал сквозь угар,
как в окно влетело: «Карр-р!»

Карр-р. Карета. Некто в чёрном, взором огненным и вздорным
озаряя ночь, проворным жестом вынув портсигар,
в бар вбежал и сел напротив, но погоды не испортив, —
я, как если бы юродив был, легко держу удар...
Сел и сел, сиди с дедалом, с неба рухнувший икар.
Тут он рот разинул: «Карр-р!»

Ну и что? Я не в обиде. Жизнь прошла в нетрезвом виде,
и кому сказать «изыди!», если сам себе кошмар?
Бар прокуренный и чадный, пересыпан непечатной
бранью мерзкой и насадной, воздух — смрад и перегар...
Всё ж в реестре преисподней бар не худшая из кар.
Сотрапезник рявкнул: «Карр-р!»

Я спросил: «Придя оттуда, где, навалены как груда
или поданы как блюдо, мы мертвы, и млад, и стар,
свет пролей — на самом деле мы мертвы, когда не в теле?
Есть душа, о коей пели и поют, цenia свой дар,
менестрели? Эти трели — правда или же товар?»
Он кивнул и молвил: «Карр-р!»

«Если ж есть душа в загробном мире, телу неудобном,
в состоянии свободном *лучше* ль ей? И что там — пар
млечный? ангелов ли пенье? — не испытывай терпенье! —
света параллелепипед или звука белый шар?»
За окном сирена взвыла — на пожар промчалась саг.
Призрак, выпив, вскрикнул: «Карр-р!»

Я в ту пору жил на Pelham, был декабрь, несло горелым,
надвигалась баба в белом, я забрёл в кромешный бар,
где с таинственным собратом, чернобровым и крылатым,
расщепляясь точно атом, пил не то чтобы нектар.
Алкоголь — мой горький фатум. «Карр-р! — в проезжем свете фар
гость мой дважды гаркнул, — карр-р!»

«Где мой первый друг бесценный? — я воскликнул. — Что за сценой?
Говори, бродяга бранный!» — Но бродяга с общих нар
встал и подал знак, чтоб следом шёл за ним я. Верно, ведом
путь ему... И за соседом я ступил на тротуар.
Две парковки, три заправки, супермаркета амбар...
«Что замолк ты? Каркни!» — «Карр-р!»

Шли и шли. Снежинка косо пролетела возле носа.
Ни единого вопроса больше не было. Футляр.
Человек в футляре. Узость взгляда — есть, по сути, трусость.
Изворотливость, искусность — вот и весь твой скудный дар.
Современный борзописец мне кричит: «О чем базар?»
Отвечаю кратко: «Карр-р!»

Кар-навал окончен вроде. С общих нар — и на свободе,
рифма ей — на небосводе. Вот свеча, а вот нагар.
Вот дымок — смотри, он тает. Вот восток — смотри, светает.
Слово чистое витает, открестьясь от чёрных чар,
и округа обретает ясность черт. Не слышу «карр-р!».
Что-то я не слышу «карр-р!».

Помню, шагом шёл нетвердым за притихшим, помню, чёртом,
помню, мы пришли на Fordham *. «Кто ты есть, скажи, фигляр?»
Ничего мне не ответил, только стал прозрачно-светел,
и тотчас, как я заметил, рассвело среди хибар.
Небо ожило, и ветер вымел все тринадцать «карр-р!».
Здесь твой дом. Прощай, Эдгар!

* *Fordham* — во времена Эдгара По сельская местность, где поэт провёл последние годы жизни и написал «Ворона». Сейчас район Бронкса; примерно в часе ходьбы от него — Pelham.

Город-вариация

В автобусах, троллейбусах, трамваях
то лапки, то крюки массивных лапищ,
на выходе красotka, с ветром справясь,
смущённо оправляет платья парус,
а в небе — стаи перелётных кладбищ,

кричащих, вышитых крестом крылатым
над шестиречьем разветвлённой дельты;
вдоль набережной, пахнущей гуляньем,
проезжие колёса крутят сальто,
а вдалеке Исакий блещет златом.

Советник, секретарь, купец, повытчик —
сегодня их не распознаешь, театр
шумит, — швея, артельщик, регистратор —
они из служб своих, как из кавычек,
выпрыгивают и флажками машут.

Сегодня будут состязанья в беге,
бенгальские огни, в балете эльфы
и феи, лотерея, — жизнь на лоне
природы, Петербург весь на ладони,
торгует пёстрой всячиной с телеги.

Вот гувернантки, разодевшись в тряпки,
с дитятами гуляют по проспекту,
прохожий потный пышет вроде топки
и с криком: «Улыбайтесь!» — исчезает.
Своих безумцев светлый город знает.

Он их несёт в корзинке лучезарной,
сплетённой из соломы солнца ломкой,
на дне брусничные брусчатки зёрна,
а между прутьев то Нева, то небо —
блеск облака и плеск воды негромкой.

Ода осени

Когда всей раковиною ушной
прильну, в саду осеннем стоя,
к живому, чувствую душой
с землёй всецело феодальное родство я.
Тогда я завожу интимны
всепрославляющие гимны.

Бывает, что безмерно засмотрюсь,
заслушаюсь и мигом пылко
с жестоким миром замирюсь, —
я, высших милостей усердная копилка!
Чу! Тонкую тропинку, верно,
перебежала горна серна.

Уж затевает шахматы листва,
на тихий пруд слетая мелкий,
секунда в воздухе, чиста,
висит, как на флажке, неборимой стрелкой.
То осень, осень златовласа
ждёт окончательного часа.

Мы станем с ней ушедших поминать.
Ни золотых монет, ни меди
своей мне не на что менять.
Пусть боголюбые мне жизнь сулят по смерти,
каким бы ни было жилище,
такой не будет духу пищи.

Не будет. Я всегда хочу домой, —
единственный бесценный дар мой.
Фрагмент ограды — струнный строй —
в развилке дерева мелькнёт горячей арфой.
Погаснет? Я и сам немею,
но быть не радостну не смею.

Козлиная песнь

Давай, чахоточный Коптёлыч,
нюхнём и двинемся в поход
по светлым улицам, где сволочь
людская шляется вразброд,
минуем Невский без оглядки,
собою Биржу освятим,
а после в явочном порядке
Наташу с Лидой посетим.
Бумбяныч тоже знает явки,
он на Литейном, вечный жид,
букинистические лавки
в коротких брючках обежит,
а после — в Озерки (не спится!),
он руки в ноги — и в галоп,
а приглядишься — там копытца
и рожками увенчан лоб.
Стоит Поэт потёртым фертом,
торчит фонарь, как буква «рцы»,
пианистическим концертом
звучат роскошные дворцы.
Над крепостной стеною розов
закат, Лавласа быстрый шаг
пестрит вдали, пока Философ,
в окно уставясь, молвит так:
«Я половое знал томление,
но больше к девушкам не мчусь,
а скажет кто «совокупление» —
я попросту расхожусь».

Осталось ли нюхнуть в запасе?
Нет. Возвращается, помят,
в свои простые восвояси
библиофил и нумизмат.
Коптёлыч, завтра там же сходка,
где белой ночи блёкнет пыл,
пока не съела нас чахотка
и Озерлаг не распылил.

Письмо Гоголя

Едва приехал — слёг,
всквозь до печёнки,
трясаясь в некрепкой колясчёнке,
в пути продрог.

От стылых ли камней
гнилого края
как воспалительность какая
в крови моей.

С утра кругом туман
да шум работный,
карман-то у людей неплотный,
пустой карман.

Перекрестясь, пишу:
пришлите денег,
жизнь выметает их, как веник.
Я вас прошу.

Хотел скопить, но — чу!
вдруг вижу платье,
а гардероб — моё проклятье.
Я не франчу, —

сюртук был сильно дран
под мышкой слева...
А я в ответ вам для посева
пришлю семян.

Увижу ли зарю?
Скажу без ячеств,
что существую не без качеств,
хотя хандрю.

Провозглашу как есть,
простите смелость:
в восторгновенье бы хотелось
свой дух привести.

Чтоб не сидеть порой
поджавши руки,
а пропестрить долину скуки
живой искрой.

За подвигом умру.
Прожить напрасно,
обравнодушившись безгласно,
претит нутру.

Для вдохновенных струй,
для сладкопенья,
о, дух смиренья и терпенья,
любве даруй!

Апории

1

Жизнь вынашивает воспоминание
о себе, как мать вынашивает дитя,
замедляет ход, излучает сияние
и почти навёрстывает себя, хотя
черепаха была и пребудет чуть впереди
Ахиллеса (и это щит его и его пята).
На часах двенадцать, но без пяти,
скоро, скоро, а в сущности — никогда.
Только всю воссоздал, а она ушла
на шагок, не успеть за ней, не успеть.
Бесконечной задуманная, светла
вспоминанием. Невозможна смерть.

2

Едва касаюсь лезвия болезни
в младенчестве, когда впервые страхом
дохнуло, миг — и зарождаюсь в бездне,
в сцепленьях с миром находя себя по крохам.
Но чуть продлюсь там — и уже потерян.
Стихотворенье движется напрасно,
и надо возвращаться к тем портьерам,
слегка колеблющимся, не рифмуя праздно.
К волчку, к вращению его с завывом
и выбегом из яви — грани стёрты,
к тому, как чахнет и, качнувшись криво
туда-сюда, ложится на бок, полумёртвый.

Последовательность движенья — призрак,
стихотворенье движется к началу
себя, в своих младенческих капризах.
Путь непреодолим, я в нём души не чаю.

3

Я почувствовал: скоро. Тихо
дверь прикрыл и сбежал во двор.
Там, натягивая тетиву к уху,
с самодельным луком стоял Тевтар.

И стрела, рванувшись, застыла.
В сонном страхе вернулся: дверь
приотрыта, за ней — затылок
и спина — с носилками пятится санитар.

Непосильный позор. Всё ближе.
Мёртвый груз прикрыт простынёй.
Мне хватило б раза. Но вижу
бесконечно: недвижно летит стрелой.

Посещение

Ночь декабрьская, холод.
В отчий дом захожу.
Я, старик, ещё молод.
Свет тускнеет в прихожей.

Из столовой отец,
сбоку выйдя: «Трагедия
в нашем доме», — и тень
к тени, две на паркете.

Мать выходит потом.
«Что стряслось?» — замираю.
«Мы вчера, — впалым ртом
говорит, — оба умерли».

Прохожу. Вижу в спальне
мать у зеркала молодая
прихорашивается, шаль
на плечах, ни следа

смерти, рядом отец —
то обнимет её, то смеётся,
слышу скрип половиц,
белый свет на них льётся.

Осень

Лечь в квартире пустой,
глаза закрыть.
Был талантливый, не простой...
Время убило прыть.
Кем притворялся ты
лет пятьдесят,
рифмами наводя мосты?
Пересчитать цыплят
самое время. Покой земли.
Только в стекло —
ветка — мол, за тобой пришли.
Оно и пришло.
Как узнало ты адрес мой?
Даром следы я за-
метал, не приходил домой,
менял адреса?
Даром? Нет его.
Молодому оставь
погремушку часа рассветного.
Ночь наступает. Явь.
Хлеб не тело, вино не кровь.
Образ отшелуши.
Не говори, что в душе любовь,
там ни души.
В изморози поля.
К нулю сползла
температура. И ты с нуля
начинай, не со зла.

Перед отлётом

Вот он, огненный тамбур, —
здесь с тобой выпивал я не раз.
Это гамбургер, варвар,
это чизбургер, френч твою фрайз.
Здесь я захорошею
и увижу, как в чёрном окне,
лебединую шею
изогнув, проплываю вовне.
В чёрном космосе — жёлтый
куб «Макдональдса». Музы поют.
Что искал, то нашёл ты, —
чудной жизни последний приют.
Так давай же потешим
душу, глядя на звёздчатый лёд, —
это счастье в чистейшем
виде взято тобой напролёт.

Романс на одной ноте

Вдруг в ночи он забрякал
на гитаре, романс затянул,
и заплакал навзрыд я, беззвучно заплакал,
как на горле петлю затянул.
Потому ль, что сердечно
он фальшивый мотив выводил
и так нежно, так нежно и так человечно
к свету Божьему не выводил.
Что ж, что выпала решка...
Мне ль плацкартной тоской исходить
и чуть что выходить покурить? Что за спешка,
если скоро совсем выходить?

Шекспириада

Сергею Жадану

На сцену, мальчики, я запускаю глобус,
шекспировского мозга чудный образ!
Всем серым веществом вы, облака,
сорвавшись с мест, развейте скорость мысли!
Эй, мальчики, в какой вы бочке кисли?
Где карта дней? Сыграем в дурака!

На сцену, праведники, прохиндеи, ведьмы!
Ударим в гонг, и если гонга медь мы
разгорячим и расхрипим на все
лады, склонив её к разноголосью,
то колесо событий скрипнет осью.
Где белка, чтоб вертелась в колесе?

Эй, палачи, на сцену! Скрутим в рог бараний
свободу, площадной отвесим брани
галантности, наукой устращать
потешимся! Куда вы, горожане?
Рабы, тащите хворост, чтобы Жанне
д'Арк ярче было сцену освещать!

А вот и плаха! Пей горластый воздух горний,
поднявшись на помост! Мир — живодёрня.
Скользят в крови постыдные стада,
бездарность алчет мести и клокочет,
порок в чести, пророчица пророчит
и, стихнув, говорит: «Я жить сыта».

Твою любовницу убьют, трусливый ратник.
Развратница, погибнет твой развратник —
не всё тебе, мужеубийца, рай.
Стук в дверь. Никак Орест пришёл с Пиладом?
И тот же по макбетовым палатам
несётся стук — привратник, отворяй!

К вам, недоноски всех мастей, сыны рептилий
и крыс, которых в жизнь недородили,
из тени Клитемнестры выйдет тень
отца великомученика-принца.
«Что? Крыса? А не хочешь ли гостинца?»
Вот окорок — крюком его поддень.

На сцену, шваль! По вашим душам, отморозки
и бляди, не кудрявые берёзки —
осины сохнут. Ты ещё в парче?
А ну как поменяешься ролями
с тем, кто своими давится соплями
и смрадно тонет в собственной моче?

На сцену, мальчики, пусть не избыта скверна,
и серный облак далеко не серна,
и ломаются от мёртвых яств столы...
Пока есть Ариэль на небе звёздном,
Бирнамский лес идёт не в переносном —
в прямом стволовом смысле на стволы.

Стихи

Я искал, где они ютятся.
В магазины ёлочной мишуры
заходил, засматривался на шары
(да святятся!),

в вечереющем ли предместье,
ноющем, как укол
под лопатку, в неоновых окнах школ
(много чести

месту пыток, где ходит завуч
с тощим на затылке узлом,
в костюме, стоящем колом),
в парке, за ночь

ставшим чистой душой без тела, —
точно зрение остушилось в даль
и наклонная птица диагональ
пролетела,

я искал их на Орлеанской
набережной шарлеанской и в том
великодушии (с поцелуем-сном,
его лаской), —

в том единственном, пожалуй,
за что можно ещё любить
(так чувствовал Сван, готовясь забыть
жизнь, усталый),

в море, шуршащем своим плащом, —
вдоль него вечно бы с тобой брести! —
я искал их, не видя смысла, прости,
больше ни в чём.

Ночью вздрагивал, шёл на шорох,
память перерыл, как рукопись, вспять,
и когда отчаялся их искать,
я нашёл их.

Содержание

Грифцов во всём великолепии

Любовь	5
Выходной	6
На уроке	7
Библейский сон	8
Первое свидание	9
Грифцов прогулочный	10
В обратной перспективе	12
Два возвращения	13
Семь плюс один	14
Утро	15
Грифцов — переводчик Шекспира	16
Живые картины	18
Грифцов политизированный	21
Грифцов на митинге	23
Грифцов и Давид	24
Грифцов-Орфей	27
Обрыв фильма	28
Грифцов — переводчик Джойса	30
Грифцов и Вторая книга Царств	31
Грифцов и Беккет	34
Два грифцовских сонета	36
Диалог Грифцова со своей душой	38
Весна	40

Грифцов читает Гандельсмана

Элегия. Воплощение	43
Элегия. Пришествие	45
Элегия. Плавание	47
Элегия. Под линзой	49
Элегия. Кузина в 1973 году	51
Из Лидии Гинзбург	53
Этюд	54

Железнодорожное полотно	56
По-весть	57
Город-вариация	60
Ода осени	62
Козлиная песнь	64
Письмо Гоголя	66
Апории	68
Посещение	70
Осень	71
Перед отлётом	72
Романс на одной ноте	73
Шекспириада	74
Стихи	76

Владимир Гандельсман, Грифцов

редактор:
А. Переверзин

художник:
С. Труханов

корректор, технический редактор:
О. Тузова

издательство «Воймега»
voymega@yandex.ru
alkonost.mail@gmail.com

Подписано в печать 20.04.2014.
Формат издания 60x90/16. Усл. печ. л. 5
Тираж 600 экз.



Владимир Гандельсман родился в 1948 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Работал инженером, сторожем, кочегаром, гидом, грузчиком. Автор книг «Новые рифмы» (2003), «Школьный вальс» (2005), «Исчезновение» (2007), «Ладейный эндшпиль» (2010), «Читающий расписание» (2012), «Видение» (2012) и других; многочисленных журнальных публикаций. С 1990 года живёт в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге.